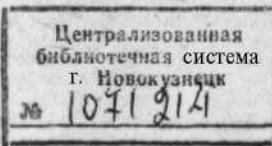


Н.О.Лосский

БОГ И МИРОВОЕ ЗЛО



Москва
Издательство
«Республика»
1994

Часть I

ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Глава первая ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ДОСТОЕВСКОГО

Федор Михайлович Достоевский (30.X.1821—28.I.1881) с начала и до конца жизни проявлял во всем своем поведении и характере чрезвычайное, иногда прямо-таки адское самолюбие, самостоятельность убеждений и поступков, упорство в отстаивании своих убеждений, свободолюбие и чуткость ко всякому притеснению.

В детстве маленький Федя во всех своих проявлениях был, по словам родителей, «огонь»; он любил показывать ловкость и силу; устраивая игры в «диких», в Робинзона, он всегда предводительствовал. Однажды, когда он, не любя подчиняться чужому авторитету, резко отставал свои убеждения, отец пророчески сказал ему: «Эй, Федя, уймись; несдобровать тебе... быть тебе под красною шапкой»¹.

Наклонность жить в мире фантазии обнаруживается у Достоевского очень рано. Совсем ребенком он с увлечением слушает, как отец читает матери романы Редклиф. Он любит читать путешествия, романы Вальтера Скотта, мечтает о путешествиях по Востоку и в шестнадцатилетнем возрасте пытается написать роман из венецианской жизни.

Выйдя из родительской семьи, в Инженерном училище, на службе, потом на каторге, самолюбивый Достоевский обособляется от толпы товарищей, навязанных ему обстановкою. Он ведет преимущественно уединенную жизнь и уходит в мир своей фантазии. Герой повести «Хозяйка», оторвавшийся от действительности и одиноко живущий своими фантастическими грезами, похож на Достоевского в эту пору его жизни. Он пишет в это время «Хозяйку» и, по-видимому, имея в виду себя, а также главное лицо своей повести, говорит в письме к брату Михаилу: «Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колossalным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни»².

Обособление Достоевского от товарищей вовсе не есть следствие равнодушия к людям или черствости сердца. Наоборот, он живо воспринимает чужую жизнь; он легко проникает в сокровенные тайники характера не только людей, но и животных; особенно чуток он к чужому

¹ А. М. Достоевский. «Воспоминания», стр. 43, 56, 71 *. Красная шапка — форма сибирских стратчных батальонов.

² Достоевский. Письма, Т. I., № 44, стр. 106. В дальнейшем, ссылаясь на письма, я буду указывать лишь номер письма. Об автобиографическом значении «Хозяйки» см. статью А. Бема «Драматизация бреда» в сборниках «О Достоевском», I т., ред. А. Бема.

страданию. Удаление его от шумной толпы товарищкой объясняется тем, что он недоволен действительностью, слишком далекою от идеала и часто наносящею удары его самолюбию. В живое общение он вступает только с избранными, например с Шидловским или с лицами, приглашенными им. Так, д-р Яновский рассказывает, что Достоевский любил в 1846—49 гг. устраивать обеды для своих приятелей где-либо в ресторане, произносить при этом спички и оживленно обсуждать в этих собраниях литературные произведения¹.

Достоевский страстно хочет любить и быть любимым, он считает себя человеком «с нежным сердцем, но не умеющим высказывать свои чувства»². Во все периоды своей жизни он жалуется на свой скверный отталкивающий характер: «иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова» (к брату Михаилу, I, № 44). Неудивительно поэтому, что свою жажду любви он удовлетворяет в мечтах и изливает ее в таких повестях, как «Белые ночи», «Неточка Невзорова», «Хозяйка», «Бедные люди», «Маленький герой». А сколько таких воображаемых сцен, как беседы с любимою девушкою в «Белых ноках», осталось не претворенными в повесть.

Когда исключительные условия, или семейная связь, или просто привычка снимают преграду между Достоевским и людьми, нежность его души и доброта обнаруживаются ярко и сильно. В Тобольске приговоренный к каторге Ястржембский был близок к самоубийству; его удержало от этого поступка влияние Достоевского, который обнаружил в этом деле мужественную натуру с женственною мягкостью³.

Множество фактов свидетельствует о его чрезвычайной доброте. Пrijатель молодости Достоевского д-р Ризенкампф говорит: «Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Когда в 1843 г. Достоевский и Ризенкампф наняли общую квартиру, «самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя».

«Все забитое судью, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие,— рассказывает барон А. Е. Врангель,— его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его; снисходительность Ф. М. к людям была как бы не от мира сего»⁴.

Узнав о страшной нищете одной вдовы, оставшейся после смерти мужа с тремя детьми 11, 7 и 5 лет, Достоевский из жалости взял ее к себе прислугу со всеми детьми. Анна Григорьевна Достоевская пишет об этом случае: «Федосья со слезами на глазах рассказывала мне, еще

¹ Воспоминания о Достоевском. «Русский Вестник», 1885, апрель.

² А. Г. Достоевская. «Воспоминания», стр. 47 *.

³ О. Миллер. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского, 127 стр. в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», 1883.

⁴ Барон А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—1856 гг. СПб., 1912, стр. 35.

невесте, какой добрый Ф. М. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и засыпав, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит»¹.

Он заботится об отдыхе прислуги. Испытывая самые тяжелые денежные затруднения, он тем не менее ежемесячно помогал семье своего любимого брата Михаила после его смерти. Особенно удивительна его постоянная забота о пасынке Павле Исаеве и материальная поддержка его даже тогда, когда этот молодой человек проявляет ~~нахальную~~ требовательность, продаёт по частям любимую библиотеку ~~своего~~ отчима во время его долгого пребывания за границею, получает места по протекции отчима и через месяц-два теряет их вследствие дерзкого отношения к начальству и т. п. Все каверзы пасынка Достоевский переносит с изумительной кротостью и долготерпением.

Просящим милостыню Достоевский никогда не отказывал в помощи.

«Случается,— рассказывала жена его,— когда у моего мужа не найдется мелочи, а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал деньги» (стр. 220). В 1879 г. какой-то пьяный крестьянин ударил на улице Достоевского по затылку с такою силою, что он «упал на мостовую, и расшиб себе лицо в кровь».

«В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает».

Однако протокол был уже составлен и делу был дан ход. Мировому судье Достоевский заявил, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Судья, снисходя к просьбе Достоевского, все же приговорил крестьянина «за произведение шума» и беспорядка на улице к денежному штрафу в 16 рублей, с заменою арестом при полиции на четыре дня. Достоевский подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты штрафа.

Защищая Достоевского против навета Н. Н. Страхова *, жена его пишет:

«Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех, о несчастии, неудаче или беде которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своею помощью. Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова, И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приют, скольких неудачников определил на места. А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных дела. Он не жалел своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас

¹ А. Достоевская. «Воспоминания», 78.

досадовала, зачем он так бесконечно добр, но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело».

Человек болезненно самолюбивый, имеющий приятелей, но не подлинных друзей, съезжающийся от постоянных столкновений с людьми, но вместе с тем ищущий любви и ласки нередко удовлетворяет эту потребность своей души путем общения с детьми. Достоевский особенно нежно любил и понимал детскую душу.

«Я ни прежде, ни потом,— говорит Достоевская,— не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в мироозерцание детей и так их заинтересовать своею беседою. В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком».

Рассказывая о длинной поездке всей своей семьи в Курскую губернию летом 1877 г., Достоевская говорит:

«Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка: чуть, бывало, кто из троих начинал капризничать, Федор Михайлович являлся из своего уголка (он сидел в том же вагоне, но поодаль от нас), брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми) и так заинтересовать ребенка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашнюю любовию к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать».

Чуткий к чужим страданиям вообще, Достоевский особенно болел душою за детей, узнавая о случаях притеснения их. Он следит за судебными процессами, возбуждаемыми против родителей, истязающих своих детей. Из этих процессов он взял материал для «бунта» Ивана Карамазова против мира, в котором возможны невыносимые страдания невинных детей:

«Есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше — больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка». Тут именно незацищенность-то этих созданий,— говорит Достоевский,— и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти,— вот это-то и распалияет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь — зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязаемой жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и прочего».

Человек, измученный видением зла в мире и неспособный создать себе в своей общественной жизни среду дружеских отношений вследствие своей неуживчивости и требовательности, с душою мяtkoю, но не умеющим проявляться мечтает основать семью как уголок мира, в котором легче может быть осуществлен идеал любви. После смерти своей первой жены, брак с которой был неудачен, Достоевский в течение двух лет делает пять предложений (Сусловой, Корвин-Круковской, Иванчиной-

Писаревой, Ивановой и Сниткиной). В отношениях к Иванчиной-Писаревой, Ивановой и Сниткиной нет и следа страстной влюбленности: делая предложение, Достоевский просто руководится желанием во что бы то ни стало иметь прочную семью. Он говорит, что если пришло бы выбирать, жениться ли на умной или добре: «возьму добрую, чтобы меня жалела и любила». В молодости, в возрасте 26 лет, он сказал Яновскому:

«Люблю не юбку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна», почтенная мать семейства, жена художника-академика Н. А. Майкова, мать приятеля Достоевского поэта Аполлона Николаевича Майкова. Эти слова произнесены были приблизительно через год после того, как Достоевский, когда у него закружилась голова в пору кратковременного литературного успеха, познакомился, быть может, с сомнительными женщинами, а потом увлекся на несколько месяцев красавицею Панаевой. Он писал тогда брату Михаилу:

«Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошили донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь». «Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и прямая донельзя» (№ 31, 16.XI.1845).

Женившись на Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский в начале брачной жизни часто проявлял в отношении к молодой жене отрицательные черты своего характера, нередко ссорился с нею, кричал на нее и даже заявлял ей в одной из ссор, что жена — «естественный враг своего мужа»¹. Через два месяца после свадьбы в письме к Сусловой, связь с которой была разорвана не Достоевским, а самою Сусловой, он объясняет свою женитьбу тем, что после смерти брата Михаила ему было «ужасно скучно и тяжело жить», он пригласил стенографистку и, заметив ее любовь к себе, «предложил ей за меня выйти»; Сусловой же он говорит: «я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя», уважаю тебя «за твою требовательность, «друг вечный» (№ 265, 23.IV.1867). По-видимому, свой брак он расценивает как дешевое необходимое счастье. Однако дальнейшая жизнь с доброю и умною женою, понимавшую величие гения своего мужа и прощавшую ему его недостатки, принесла такие глубокие переживания, которые создали неразрывное сочетание двух душ. Первым серьезным испытанием были страдания Анны Григорьевны во время трудных родов в марте 1868 г. в Женеве.

«В лице Федора Михайловича выражалось,— пишет Достоевская,— такое мучение, такое отчаяние, по временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти, и, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не столько себя, сколько бедного моего мужа, для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке. Внезапное крушение этих надежд,

¹ А. Г. Достоевская. «Дневник», 34 *.

- при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича, могло стать для него гибелью».

Когда родилась дочь, которую назвали Софией, Достоевский «благовейно перекрестил Соню, поцеловал сморщенное личико и сказал: «Аня, погляди, какая она у нас хорошенъкая!» Я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадовалась на своего дорогого мужа, видя на его восторженном и умиленном лице такую полноту счастья, какой доселе не приходилось видеть».

«Федор Михайлович,— продолжает Достоевская,— оказался неожиданным отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в покойное одеяльце и зашипливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышил ее голосок».

Он «целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его, и вот что он писал А. Н. Майкову от 18 мая 1868 года: «Это маленько трехмесячное создание, такое бедное; такое крошечное,— для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил».

К сожалению, это счастье длилось недолго. На третьем месяце своей жизни девочка заболела воспалением легких и скончалась.

«Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною,— пишет Достоевская,— я страшно боялась за моего несчастного мужа: отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя перед остывшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видела. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя».

После этого удара Достоевские не могли оставаться в Женеве и недели через две переехали в Веве.

«Пароход, на котором нам пришлось ехать,— пишет Достоевская,— был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказывал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспомнил насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марией Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее «странный, мнительный и болезненно фантастический характер» был причиной того, что он был с нею очень несчастлив. И вот теперь, когда это «великое и единственное человеческое счастье иметь родное дитя» посетило его и он имел возможность сознать и оценить это

счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо. Никогда ни прежде, ни потом не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей.

Я пыталась его утешать, просила, умоляла его принять с покорностью ниспосланное нам испытание, но, очевидно, сердце его было полно скорби, и ему необходимо было облегчить его хотя бы жалобою на преследовавшую его всю жизнь судьбу. Я от всего сердца сочувствовала моему несчастному мужу и плакала с ним над столом печально сложившееся для него жизнью. Наше общее глубокое горе и задушевная беседа, в которой для меня раскрылись все тайники его наболевшей души, как бы еще теснее соединили нас».

Через полтора года у Достоевских в Дрездене родилась вторая дочь — Любовь.

«С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье»,— говорит Достоевская. Н. Н. Страхову Достоевский пишет:

«Ах, зачем, зачем вы не женаты и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть».

После нескольких лет семейной жизни Достоевский часто говорит своей жене, что они «срослись душою», пишет ей: «Ты слилась со мной в одно тело и в одну душу» (№ 562, 24.VII.76), считает ее «красавицею» (Письма к жене, № 140, 144). В семье своей Достоевский нашел и осуществил свой идеал любви человека к человеку, единодушной жизни и готовности жертвовать собою для других. Здесь он мог сполна проявить всю нежность, таившуюся в глубине его души. Но, конечно, свою потребность в осуществлении совершенного добра Достоевский не мог удовлетворить целиком одною лишь семейною жизнью. Смолоду его увлекает идеал абсолютного совершенства не только в личной и семейной жизни, но и в жизни общественной и всемирной. Все «великое и прекрасное» волнует его до глубины души; он ищет абсолютного добра, не запятнанного ни малейшою примесью эгоистической ограниченности и какого бы то ни было зла; иными словами, он ищет добра, осуществимого не иначе как в Царстве Божием. Девятнадцатилетним юношем он пишет брату Михаилу: «...я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им»; он старается понять и найти в жизни «благородного, пламенного Дон-Карлоса, и Маркиза Позу, и Мортимера»; имя Шиллера, говорит он. «стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». В том же письме он восторгается величием образов в трагедиях Корнеля и Расина. «Прочти,— советует он брату,— особенно разговор Августа с Cinna *», где он прощает ему измену (но как прощает!). Увидишь, что так только говорят оскорбленные Ангелы» (1, № 16, 1.I.1840).

Такие вкусы и интересы, какие проявляет молодой Достоевский, неизбежно приводят к увлечению проблемами общественной жизни. Страстное искание путей к осуществлению социальной справедливости

* № 344, 26.II.1870; см. также письмо к Врангелю, № 241, 18.II.1866.

одушевляло Достоевского с юности до конца жизни. В «Дневнике Писателя» он рассказывает, как в мае 1837 г., будучи шестнадцатилетним юношесю, он ехал с отцом и братом Михаилом в Петербург определяться в Инженерное училище. Путешествие длилось почти неделю.

«Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком» — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и *даже дорогой*, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоянном дворе. Прямо против постоянного двора, через улицу, приходился *стационарный* дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и высокочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогданими фалдачками назади, в большой трехугольной шляпе. Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в стационарный дом и, уж наверно, «хлопнул» там рюмку водки. Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и *ямщик*, молодой парень лет двадцати, держа в руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же высокочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов поднял свой зловоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут, изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегера. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегера почти так же ездят, а что этот особенно, и его уже все знают. Эта отвратительная картина осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегера и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне».

«Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доли людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы».

В возрасте 25 лет, познакомившись с Белинским, Достоевский под влиянием бесед с ним стал интересоваться идеями социализма, нравственно обоснованного и проникнутого возвышенными гуманными настроениями. В 1847 г. он стал посещать собрания кружка «петрапевцев», члены которого увлекались главным образом идеями социализма Фурье.

¹ «Дневник Писателя», 1876, январь.

Участие в этом кружке едва не закончилось для Достоевского смертною казнью и привело его к каторге.

Глубокие потрясения, перенесенные им, и расширение опыта благодаря жизни среди простого народа сначала на каторге, а потом среди солдат на военной службе в Сибири произвели существенные изменения в мировоззрении Достоевского. Он понял недостатки социализма как попытки *внутренне* усовершенствовать человечество *внешними* средствами новой социальной системы. Он и раньше догадывался, что это невозможно. Образ Христа, любимый им и раны, выдвинулся теперь для него на первый план. Жажда социальной справедливости продолжает сохраняться в нем, но средства для осуществления ее он ищет в области духа, а не во внешнем строе общества. Любовь к России и русскому народу, всегда присущая Достоевскому, вместе с христианскими идеалами выдвинулась в мировоззрении и деятельности его на первое место. Он мечтает о «всепримирении народов» с помощью России.

Службу России и всему человечеству Достоевский осуществил после каторги не участием в революционном кружке, а своим гениальным художественным творчеством и писанием публицистических статей. Под конец жизни Достоевский стал для множества людей духовным руководителем; ежедневно он получал письма со всех концов России и принимал посетителей, просивших совета, наставления, указания жизненного пути. Эта деятельность Достоевского была подобна общественному служению русского «старца» в монастыре, вроде старца Амвросия, виденного им в Оптиной пустыни, или сотворенного его фантазией старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».

Мечты и мысли Достоевского о всемирном счастьи, увлекавшие его в течение всей жизни, достигли наиболее яркого выражения за полгода до его кончины в речи о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. В конце ее он уверенно говорит:

«Будущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться примириение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Божественная гармония, снимающая все противоречия, была для Достоевского не абстрактною мыслью и не бесплотною мечтою фантазии, а живою *данною опытом*, настолько превосходящего условия земной жизни, что видение ее заканчивалось для него утратою сознания. Об этом опыте, предшествующем эпилептическому припадку. Достоевский рассказывает в романе «Идиот» от имени князя Мышкина.

«В эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил *наяву*), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти

удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. В здоровом состоянии он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайного парадоксального вывода: «Что же в том, что это болезнь,— решил он, наконец,— какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни». Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилием самосознания,— если бы надо было выразить это состояние одним словом,— самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, т. е. в самый последний сознательный момент перед припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!», то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни».

Еще ярче изображает этот опыт Кириллов в беседе с Шатовым:

«Есть секунды, их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг опущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда». Бог когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о,— тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически» («Бесы», ч. III, гл. V, 5).

Если бы душевная жизнь Достоевского руководилась одними лишь добрыми чувствами и возвышенными стремлениями, о которых шла речь выше, то Достоевский весьма приближался бы к святыни. Но у него была и другая сторона души, уходящая глубоко в область подземного

хаоса. «У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие,— признает он сам в одном из писем к брату Михаилу (I, № 33). Яновский указывает на его «беспримерное самолюбие и страсть порисоваться» (стр. 819). Расхваленный Некрасовым и Белинским после знакомства их с рукописью «Бедных людей», Достоевский вошел в литературные круги Петербурга сразу как признанный писатель. Голова у него закружилась от упоения своим успехом.

«Ну, брат,— пишет он Михаилу,— никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всю почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: «Кто это Достоевский? Где мне достать До стоя ско го?» Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести осчастливить вас своим посещением. Оно и действительно так: (мерзавец) аристократишко теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня» (I, № 31).

«Явилась целая тьма новых писателей,— говорит Достоевский через несколько месяцев.— Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда» (I, № 33).

Ему кажется, что он уже превзошел Гоголя: «Представь себе, что наши все и даже Белинский напали, что я даже далеко ушел от Гоголя: во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезисом, т. е. иду в глубину, а разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат!» (I, № 32).

До конца жизни его душу грызет беспокойное и ревнивое опасение оказаться ниже других писателей; оно принимает иногда характер мелкого тщеславия. В семидесятых годах, вернувшись с одного литературного вечера, Достоевский рассказывал дома, что Тургеневу и ему было поднесено по венку: «Мне большой, а Тургеневу маленький» (эти слова мне переданы лицом, слышавшим их).

После громадного успеха «Бедных людей» ряд следующих произведений Достоевского, «Двойник» и дальнейшие рассказы его, были встречены несочувственно. Белинский вместе с другими писателями

стали сомневаться в таланте Достоевского и писать о нем отрицательно. Колкое самолюбие и притязательное честолюбие его стало вызывать ядовитые насмешки. Панаева, говоря о Достоевском в своих «Воспоминаниях», рассказывает, что «...по молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блестательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые взболтнули в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался... У Достоевского явилась страшная подозрительность... Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду»¹.

Обиженный насмешками и вместе с тем сам отчасти недовольный собою вследствие сознания недостатков своих новых произведений, Достоевский дожелал до крайнего расстройства своего здоровья. У него появляются сердцебиения, приливы крови к голове, начинаются эпилептические припадки, сначала в легкой степени (в 1846 г.), потом все более сильные. Он был близок к душевной болезни и дожелал до галлюцинаций. Угнетенное состояние его доходит иногда до такой степени, что он хотел бы умереть, броситься в Неву.

Чтобы не уезжать в провинцию, а главное, чтобы вполне свободно отдаваться литературной деятельности, Достоевский вышел в октябре 1844 г. в отставку из Инженерного корпуса. Яновский говорит, будто поводом к этому решению был неблагоприятный отзыв императора Николая I об одной из чертежных работ Достоевского (стр. 800); сам Достоевский признавал впоследствии, что он вышел в отставку, «сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями» («Дн. Пис.», 1877, январь). Без сомнения, основным мотивом было желание свободы, чтобы всецело отдаться литературной деятельности.

Оставшись без средств, Достоевский стал часто попадать в отчаянное положение, заставляющее работать торопливо, тогда как хотелось бы вынашивать и отделять свои произведения, подобно Пушкину, Гоголю и другим великим писателям.

«На что мне тут слава, когда я пишу из хлеба», — говорит он уже по поводу первой своей повести «Бедные люди»; этою своею первою работою он хочет оплатить долг за квартиру, а «если мое дело не удастся, я, может быть, повеяюсь». В декабре 1846 г. он пишет брату:

¹ Автобиография Панаева (Е. А. Головачева). «Воспоминания». Испр. изд. под ред. Корнея Чуковского. II. 1927, стр. 196—198.

«Беда работать поденщиком. Погубишь все: и талант, и юность и надежду, омерзает работа, и сделашся наконец пачкуном, а не писателем» (№ 42). Ему нередко приходит в голову мысль утопиться.

Раздражение свое, особенно когда задето самолюбие, он готов выместить не только на себе самом, но и на других. В 17-летнем возрасте, не выдержав экзамена, он говорит о своем «оскорблении самолюбии» и заявляет, что ему «хотелось бы раздавить весь мир за один раз» (№ 12). Став писателем, он приравнивает себя к самым ничтожным из своих героев, к Голядкину, к Фоме Опискину (№ 29, 75). Крайняя степень ущемленного самолюбия, жалкой сосредоточенности на себе и жестокого безоглядного эгоизма изображена Достоевским в «Записках из подполья» (напечатано в 1864 г.). В этой повести Достоевский раскрыл «подполье» в душе человека гораздо худшее, чем все, что нашел в ней Фрейд. Он открыл помойную яму не только в других людях, а и в самом себе. В самом деле, он задумал и начал писать эту повесть в знаменательную пору своей жизни — в конце 1863 и начале 1864 года. За пятнадцать лет до этого периода, в 1848 г., он был близок к душевной болезни, от которой его спасло потрясение ареста, суда и жизни в новых условиях на каторге¹. Однако, вернувшись из Сибири, Достоевский в течение пяти лет опять накопил немало тяжелых переживаний. Журналы «Время» и «Эпоха», главным руководителем которых был он, подвергались всевозрастающей травле левой печати. Она глубоко задевала и самолюбие Достоевского, и дорогие ему идеалы «почвенничества». Ему было тем тяжелее, что он, без сомнения, в то же время видел и недостатки своего творчества: обладая громадным талантом и сознавая его в себе, он вместе с тем понимал, что до сорока лет ему не удалось написать ни одного подлинно значительного произведения, кроме отчасти автобиографических «Записок из Мертвого дома».

И семейная жизнь его с Марию Дмитриевной была крайне неблагополучна. Мария Дмитриевна после смерти своего первого мужа Исаева влюбилась в молодого, красивого, но не обладавшего никакими дарованиями учителя Вергунова. Достоевский знал об этом и, будучи страстно влюблен в Марию Дмитриевну, желая жениться на ней, тем не менее великолепно хлопотал о приличном месте для Вергунова, которое дало бы возможность ему жениться на Марии Дмитриевне. Хлопоты эти не удались, и в конце концов Мария Дмитриевна вышла замуж за Достоевского. Однако и после брака она сохраняла глубокий интерес к Вергунову. По словам Любови Достоевской, Мария Дмитриевна перетащила Вергунова за собою из Кузнецка в Семипалатинск, а потом в Тверь. Весьма вероятно, что чувства ее к Вергунову были источником глубоких мучений ревности для Достоевского; дочь его утверждает, что они послужили материалом для повести «Вечный муж»². Через год после смерти жены Достоевский писал Врангелю:

«Мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнимому и болезненно-фантастическому характеру); тем не менее «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу» (№ 221, 31.III.65).

¹ См. письмо к д-ру Яновскому, № 398. Письма, т. III.
² Aimée Dostoievsky. Vie de Dostoievsky par sa fille, 120—136.*

Приблизительно за полтора года до смерти жены Достоевский начал изменять ей, вступив в связь с молоденькою девушкою Аполлинариею Сусловою. Это была начинающая писательница 22 лет, приславшая в 1861 г. в редакцию журнала «Время» свой первый рассказ и таким образом познакомившаяся с Достоевским, талантом которого она увлекалась. В 1863 году ясно обнаружился смертельный характер туберкулеза Марии Дмитриевны, и потому Достоевский, конечно, не мог поднять вопроса о разводе с нею. Впрочем, развод, вероятно, и не привел бы к цели, потому что Суслова уже разочаровалась в своих отношениях к Достоевскому. В начале лета 1863 г. она уехала за границу и в черновике одного из писем к Достоевскому говорит, что никогда не краснела за свою любовь к нему, однако «краснела за наши прежние отношения, но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу». Далее она поясняет, что было оскорбительно для нее в их отношениях: «Они для тебя были приличны. Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Ты не должен сердиться, что я выражаясь легко, я ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов»¹. В августе Достоевский, несмотря на болезненное состояние жены, уехал за границу в Берлин и затем в Париж к Сусловой. Она встретила его словами, что он приехал слишком «поздно». Она уже полюбила молодого испанца, студента-медика Сальвадора. Федор Михайлович, говорит она в своем «Дневнике», узнав об этом, «упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал»².

Связь с Сальвадором оказалась чрезмерно кратковременною. Через несколько дней после приезда Достоевского ясно обнаружилось, что молодой испанец не любит Суслову и всячески старается от нее отделаться. Оскорблена Суслова совершенно потеряла самообладание и могла бы совершить какой-либо безумный акт мести, если бы не было вблизи нее Достоевского. Уже в день своей первой встречи с Сусловой Достоевский предложил ей «оставаться в дружбе с ним» и поехать с ним попутешествовать по Италии, причем он будет с ней «как брат». Через неделю они действительно отправились вместе в Италию, остановились по дороге на несколько дней в Баден-Бадене, где Достоевский увлекся игрою в ruletку.

Инфернальная природа Сусловой обнаружилась во время этого путешествия в полной мере. Она допускала большую близость к себе со стороны Достоевского, забывшего свое обещание питать к ней только чувства брата, доводила его до белого каления и в то же время оставалась недоступною для него. Две сцены, описанные ею в «Дневнике», ясно обрисовывают эту игру в кошку и мышку. В Баден-Бадене Достоевский и Суслова сидели вечером в гостинице в комнате Сусловой.

«Я устала,— пишет Суслова,— легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Я взяла его руку и долго держала

¹ См. Долинин. «Достоевский и Суслова», в сборнике «Достоевский», т. II. 1925, стр. 176.
² А. П. Суслова. «Годы близости с Достоевским», 1928, стр. 51.

в своей. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие около кровати, и так же поспешно воротился и сел».

В ответ на расспросы Сусловой он признался, что хотел поцеловать ее ногу.

«Ах, зачем это?» — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это. «И мне неловко», — сказал он со странной улыбкой».

Она стала выпроваживать его, говоря, что хочет спать. «Он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу». На следующий день Достоевский «напомнил о вчерашнем дне и сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности» (58 с.).

Почти через месяц в Риме Суслова пишет в дневнике:

«Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. У него была мысль, что это каприз, желание помучить. «Ты знаешь,— говорил он,— что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться». Через несколько времени он «серьезно и печально» стал жаловаться на то, как ему «нехорошо».

«Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно».

Вечером этого дня Достоевский сидел в комнате у Сусловой, причем она «раздетая лежала в постели; Федор Михайлович, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи), ибо россияне никогда не отступали».

Можно представить себе невыносимые истязания, которым подвергала Суслова Достоевского, если принять в расчет карамазовскую напряженность его сексуальных переживаний, намеки на которую сохранились в обрывках фраз некоторых его писем.

О мучительном характере Аполлинарии Сусловой мы знаем не только из ее «Дневника», но и из одного письма В. В. Розанова, который женился на ней, когда ей было сорок лет, а ему 24 года, и через шесть лет разошелся с нею. Розанов называет Суслову Екатериною Медичи: «Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; стреляла бы в гугенотов из окна в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна; я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница поморского согласия или еще лучше — хлыстовская богородица».

После путешествия по Италии Суслова и Достоевский в октябре расстались в Берлине: Суслова поехала в Париж, а Достоевский, вместо того чтобы прямо отправиться домой, заехал в Бад-Гомбург и там проигрался в ruletку дотла. Ему пришлось обратиться за деньгами к Сусловой, которая, заложив часы и цепочку, прислала ему 350 франков.

Все, что Достоевский пережил в своих отношениях к Марии Дмитриевне, а потом к Аполлинарии Сусловой, различными способами отразилось в его творчестве. Великодушная готовность пожертвовать

своим личным счастьем, проявленная Достоевским во время ухаживания за Марию Дмитриевной, изображена в «Униженных и оскорбленных» в поведении молодого писателя Ивана Петровича, влюбленного в Наташу, но самоотверженно поддерживающего ее любовь к Алеше. Низменные муки ревности составляют содержание повести «Вечный муж». Характер Сусловой, по-видимому, выражен различными способами в образах сестры Раскольникова Дуни, Настасьи Филипповны, Катерины Ивановны и особенно Полины в романе «Игрок».

Во время поездки с Сусловой Достоевский задумал роман «Игрок» и повесть «Записки из подполья». Первую часть «Записок из подполья» он написал в те месяцы, когда умирала его жена (она скончалась 15 апреля 1864 г.), а вторую часть — в ближайшее время после ее кончины.

Повесть эта выражает крайнюю степень неустроенности человеческой души. Герой ее, подпольный человек, сознает, что в душе его «кипят противоположные элементы». Он способен мечтать о любви к человеку, о всем, что «прекрасно и высоко», он способен приходить в умиление от малейшей ласки и доброго внимания к нему, но в то же время он и мелочно эгоистичен, и низменно тщеславен, подозрителен; во всех он видит к себе действительное или чаще мнимое отвращение, в себе и в других людях в каждом дуре он легко открывает неполноту его, условность и даже примесь дрянца; поэтому он насмехается над «прекрасным и высоким»; на все проявления, свои и чужие, он отвечает словом «нет», протест против всех содержаний жизни выражается у него в злобных выходках, но и злоба эта *мелкая*, чаще всего сводящаяся к терзанию самого себя; он отстаивает свою свободу и осмеивает детерминистические теории, согласно которым если раздраженный человек хочет кому-либо «кукиш показать», то можно наперед вычислить, какими пальцами он это сделает; он возмущен теориями, согласно которым вся нравственность есть искание человеком своей выгоды, и обеспечение человека экономическими благами будет источником совершенного счастья; но и справедливый этот протест против теорий, призывающих человека, выражается у него в отталкивающей форме: он говорит, что для человека «упрямство и своеование» часто бывает «приятнее всякой выгоды», «свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия,— вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту». «Дважды два — четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два — четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два — четыре превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два — пять премилая иногда вещица» (I, 7, 9). «Любить у меня — значило тиранствовать и нравственно превосходить» (II, 10).

Изображение «подполья» в человеческой душе Достоевский задумал и осуществил в то время, когда это подполье должно было особенно ясно открыться ему в себе самом: он только что пережил ряд унижительных положений в отношении Сусловой; он предпринял путешествие с Сусловою во время тяжелой болезни жены и, вернувшись к жене,

описывал свое подполье во время ее медленного умирания; перед тем он испытал несколько раз безумный и унизительный азарт игры в рулетку: в деньгах он всегда нуждался и, не умея с ними обращаться, часто доводил себя до унижительного положения; произведения его и любимые общественные идеи («почвенничество») подвергались травле, чаще всего глубоко несправедливой. Без сомнения, Достоевский, живший больше в мире своих фантазий, чем действительности, удесятерял испытываемые им бедствия, дополняя их мазохистическими и садистическими (не в сексуальном смысле, конечно) терзаниями в своем воображении. Все виды зла, создаваемого раздраженным себялюбием, были осознаны Достоевским в этих фантазиях, и в своих «Записках из подполья» он изобразил антигероя, подпольного человека, как отталкивающее дрянко, очищая этим творческим актом свою собственную душу.

Есть основания думать, что Достоевский сам полусознавал катартическое значение своих «Записок из подполья». В конце «Записок» он говорит от имени своего героя:

«Мне было стыдно все время, как я писал эту повесть: стало быть, это уже не литература, а исправительное наказание». Брату Михаилу он пишет, что его повесть «будет вещь сильная и откровенная; будет правда» (№ 196). Он хочет написать ее хорошо и прибавляет, подчеркивая, «самому мне это надоально» (II, № 191, стр. 613).

Предвосхищая теории Фрейда, Достоевский говорит, что если записать свою исповедь, сделанную перед самим собою, то «суда больше над собою будет»; «кроме того, может быть, я от записывания действительно получу облегчение; одно воспоминание мучит неотвязно; я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется» (I, 11) ¹.

Подполье, найденное Достоевским в своей душе, выражалось у него самого не столько во внешних поступках, сколько в чувствах, неосуществленных стремлениях и образах фантазии его. Были, однако, две области проявлений его души, в которых он доходил и в молодости, и после «Записок из подполья» до поступков весьма отрицательного характера. Это — увлечение игрою в рулетку со всеми последствиями его и проявления бешеной ревности.

Раньше чем говорить о рулетке, нужно сказать вообще несколько слов об отношении Достоевского к деньгам. Поразительно его неумение обходиться с ними. В ноябре 1843 г. Достоевский получил из Москвы от опекуна 1000 рублей и тотчас же проиграл их на бильярде; пришлось поэтому занять 300 рублей у ростовщика под огромные проценты да, кроме того, просить мужа сестры о присыпке 150 рублей. Через два месяца ему опять寄вали из Москвы 1000 рублей, «но уже к вечеру в кармане у него, по свидетельству г. Ризенкампа, оставалось всего 100 рублей; в тот же вечер эти деньги ушли на ужин в ресторане Доминика и на игру в домино» (О. Миллер).

Имея в виду свою беспечность в денежных делах, Достоевский называл себя мистером Микобером ²*

Унизительная зависимость от денег, естественно, наталкивала ум

¹ О месте «Записок из подполья» в жизни Достоевского см. исследования Долинина «Достоевский и Суслова», Сборник «Достоевский», т. II, 1925.

² А. Т. Достоевская. «Воспоминания», С. 127.

и фантазию Достоевского на вопрос о могуществе, даваемом богатством. Тема «Пиковой дамы» и «Скупого рыцаря», обогащение путем игры или путем медленного накопления, глубоко волновала его и обработана в его произведениях¹.

Мало того, попытки внезапного обогащения игрою на рулетке много раз повторял он в своей жизни, доходя до крайнего исступления и унижения. В 1865 г., проигравшись в Висбадене, Достоевский сидел несколько недель в гостинице в ожидании денег от Сусловой, или от Герцена, или от петербургских издателей, или от Врангеля и питался в это время только чаем.

«Толстый немец-хозяин,— пишет он Сусловой,— объявил мне, что я не «заслужил» обеда и что он будет присыпать мне только чай. Да и чай подают прескверный, платье и сапоги не чистят, на мой зов неайдут и все слуги обходятся со мной с невыразимым, самым немецким презрением» (I, № 230).

В 1867 г., женившись на молоденькой Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский отправился с нею за границу; здесь он в первые же месяцы проиграл в Бад-Гомбурге и в Баден-Бадене все деньги, взятые для поездки, и принужден был, ожидая авансов за «Идиота», продавать и закладывать свои и любимые женины вещи. Возвращаясь в гостиницу после катастрофических проигрышей, Достоевский нередко рыдал, «был себя в голову, был кулаком об стену», говорил, что «непременно сойдет с ума или застрелится». Измученный этим тяжелым положением, он однажды ночью заявил, что «выскочит из окна», «и вдруг, ни с того, ни с сего, сказал, что ненавидит меня», пишет Анна Григорьевна в своем дневнике. Во время игры он нередко приходил в состояние крайнего возбуждения. Однажды жена вызвала его из игорного зала.

«Он вышел,— говорит она,— но взглянуть на него было просто страшно: весь красный, с красными глазами, точно пьяный».

Получив деньги от матери Анны Григорьевны и, кроме того, немнога выиграв на рулетке, Достоевские решили уехать в Женеву, но Федор Михайлович и тут не удержался, стал играть и спустил почти все деньги, так что едва осталось на оплату дороги. Придя домой, «он стал передо мною на колени»,— пишет жена,— и просил его простить, говорил, что он подлец, что он не знает себе наказания².

Через полгода, когда уже родилась дочь София, Достоевский поехал из Женевы в Saxon les Bains и в полчаса проиграл все взятые деньги. В письме к жене, прося прислать сто франков, он говорит: «...я тебя бесконечно люблю, но мне суждено судьбой всех тех, кого я люблю, мучить» (II, № 303).

В тот же день вечером он пишет жене второе письмо с сообщением о закладе обручального кольца за 20 франков и проигрыше этих денег. Теперь мучения его особенно тяжелы, потому что он чувствует себя не только плохим мужем, но и недостойным отцом. Он считает этот проигрыш «последним и окончательным уроком».

1 См. исследование А. Бема «Пушкин и Достоевский» в сборнике статей А. Бема «У истоков творчества Достоевского», Петрополис, 1936, «Дневник А. Г. Достоевской» (1923), стр. 211—238, 301, 302, 339—350.

«Я верю, что, может быть, Бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это для меня, беспутного и низкого, мелкого игрочкиши, вразумив меня и спасая меня от игры — а стало быть, и тебя, и Соню, нас всех, на все наше будущее» (II, № 304).

После этого урока Достоевский три года, вплоть до апреля 1871, не играл на рулетке. Длительное пребывание за границею надоело ему; он писал в это время роман «Бесы» и считал, что отрыв от родины губителен для его таланта.

«Чтобы успокоить его тревожное настроение,— пишет его жена в своих «Воспоминаниях»,— и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему сосредоточиться на своей работе, я прибегла к тому средству, которое всегда рассеивало и развлекало его. Воспользовавшись тем, что у нас имелась некоторая сумма денег (талеров триста), я завела как-то речь о рулетке, о том, отчего бы ему еще раз не попытать счастья. Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш и мне очень было жаль ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным, и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в 2—3 недели вернет все проигранное».

Достоевский поехал в Висбаден, проиграл взятые с собою 120 талеров, попросил телеграммою жену прислать 30 талеров для возвращения домой, но вместо того проиграл и эти деньги и принужден был писать подробное покаянное письмо с просьбою прислать еще тридцать талеров.

«Есть несчастья,— пишет он,— которые сами в себе носят и наказание. Пишу и думаю: «Что с тобою будет? Как на тебя подействует, не случилось бы чего!» (Жена была беременна.)

«За эти 30 талеров, которыми я ограбил тебя, мне так стыдно было. Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил тебе. Ты для меня все свое заложила в эти 4 года и скиталась за мною в тоске по родине! Аня, Аня, вспомни тоже, что я не подлец, а только страстный игрок. Но вот что вспомни еще, Аня, что эта фантазия кончена навсегда. Я и прежде писал тебе, что кончена навсегда, но я никогда не ощущал в себе этого чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался с этим сном и благословил бы Бога, что так это устроилось, хотя и с такой бедой, если бы не страх за тебя в эту минуту. Я как будто переродился весь нравственно (говорю это и тебе и Богу), и если б только не мучения в эти три дня за тебя, если б не дума поминутно «Что с тобою будет?», то я даже был бы счастлив. Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой! Надо мною великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет. Десять лет (или лучше с смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами) я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. Нет, уже теперь твой, твой, нераздельно весь твой. А до сих

пор *наполовину* этой проклятой фантазии принадлежал» (II № 380, 28.IV.1871).

С этих пор Достоевский, действительно, больше никогда не играл на рулетке, хотя и ездил за границу часто.

Страстные проявления игры на рулетке были унизительны, но еще хуже были проявления ревности Достоевского, иногда комические, а иногда и зверские. В 1876 г., когда Достоевскому было 54 *года* и после девяти лет согласной семейной жизни он мог хорошо знать глубокую преданность себе и честность своей жены, произошла следующая история. Достоевский прочитал роман, герой которого получает безграмотное и нелепое анонимное письмо с сообщением, что жена ему изменяет и в медальоне на сердце носит портрет своего любовника. Анне Григорьевне пришла в голову «шаловливая мысль переписать это письмо (изменив и вычеркнув две-три строки, имя, отчество) и послать его на имя Федора Михайловича». Получив письмо, Достоевский гневно посмотрел на жену и подошел к ней.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

— Ношу.

— Покажи мне его.

— Зачем? Ведь ты много раз его видел.

— По-ка-жи ме-даль-он! — закричал во весь голос Федор Михайлович; я поняла, что моя шутка запала слишком далеко, и, чтоб успокоить его, стала расстегивать ворот платья. Но я не успела сама вынуть медальона: Федор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку. Это была тоненькая им же самим купленная в Венеции цепочка. Она мигом оборвалась, и медальон остался в руках мужа. Он быстро обошел письменный стол и, нагнувшись, стал раскрывать медальон. Не зная, где нажать пружинку, он долго с ним возился. Я видела, как дрожали его руки и как медальон чуть не выскоцил из них на стол. Мне было его ужасно жаль и страшно досадно на себя. Я заговорила дружески и предложила открыть сама, но Федор Михайлович гневным движением головы отклонил мою услугу. Наконец муж справился с пружиной, открыл медальон и увидел с одной стороны — портрет нашей Любочки, с другой — свой *собственный*. Он совершенно оторопел, продолжал рассматривать портрет и молчал.

— Ну что, нашел? — спросила я. — Федя, глупый ты мой, как мог ты поверить анонимному письму?

Федор Михайлович живо повернулся ко мне.

— А ты откуда знаешь об анонимном письме?

— Как откуда? Да я тебе сама *его* послала.

— Как сама послала, что ты говоришь? Это невероятно.

— А я тебе сейчас докажу.

Я подбежала к другому столу, на котором лежала книжка «Отечественных Записок», порылась в ней и достала несколько почтовых листков, на которых вчера упражнялась в изменении почерка.

Федор Михайлович даже руками развел от изумления.

— И ты сама сочинила это письмо?

— Да и не сочиняла вовсе. Просто списала из романа Софии Ивановны. Ведь ты вчера его читал: я думала, что ты сразу догадаешься.

— Ну где же тут вспомнить. Анонимные письма все в таком роде пишутся. Не понимаю только, зачем ты мне его послала.

— Просто хотела *пощутить*, — объяснила я.

— Разве возможны такие шутки? Ведь я измучился за эти полчаса.

— Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену.

— В этих случаях не рассуждают. Вот и видно, что ты не испытала истинной любви и истинной ревности.

— Ну, истинную любовь я и теперь испытываю, а вот что я не знаю «истинной ревности», так уж в этом ты сам виноват: зачем ты мне не изменишь, — смеялась я, желая рассеять его *настроение*, — пожалуйста, измени мне. Да и то я добрее тебя: я бы тебя не тронула, но уж зато ей, злодейке, выцарапала бы глаза...

— Вот ты все смеешься, *Анечка*, — заговорил виноватым голосом Федор Михайлович, — а подумай, какое могло бы произойти несчастье. Ведь я в гневе мог задушить тебя. Вот именно можно сказать: Бог пожалел наших деток. И подумай, хоть бы я и не напел портрета, но во мне всегда оставалась бы капля *сомнения* в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю.

Во время разговора я почувствовала какую-то неловкость в движении шеи. Я провела по ней платком и на нем оказалась полоска крови: очевидно, сорванная с силою цепочка оцарапала кожу. Увидев на платке кровь, муж мой пришел в отчаяние¹ и стал так же бурно просить прощения, как раньше яростно нападал.

«Натура моя подтая и слишком *страстная*, — характеризует Достоевский сам себя в письме к А. Н. Майкову, — везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил» (№ 279, 16.VIII.67).

Даже мелочи повседневной жизни выражались иногда у Достоевского так, как будто они были серьезными событиями. М. Н. Стоюнина бывала свидетельницей того, как Достоевский, уходя из дома и заметив в передней, что у него нет чистого носового платка, кричал оттуда жене: «Анна Григорьевна, платок!» — таким трагическим голосом, как будто весь мир рушится.

А. Н. Майков в письме к своей жене, жившей летом 1879 г. в Старой Руссе вблизи от Достоевских, спрашивает ее:

«Что же это такое, наконец, что тебе говорит Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет *сомнения*. невозможностью своего характера — это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии, — все это не ново. Что же так могло поразить тебя и потрясти?»²

Н. Н. Страхов, написавший вскоре после смерти Достоевского его

¹ А. Г. Достоевская. «Воспоминания», стр. 209—212; другие примеры не менее нелепых, но комических проявлений ревности описаны в «Воспоминаниях» на стр. 170—172, 247—249.
² «Достоевский», под ред. Долинина, т. II, 175.

биографию, где Достоевский изображен как человек, обладающий высокими достоинствами, обратился по поводу этой биографии со следующим письмом к гр. Л. Н. Толстому:

«Хочу исповедаться перед вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением; старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Д. ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По слухам Биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугой, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек». Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отзывались понятия вольной Швейцарии о правах человека.

Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабы, неожиданно и непрямо; но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обычными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие,— это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь читал ее многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муз и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».

Далее Страхов пишет, что он мог бы рассказать в биографии об отрицательных чертах характера Достоевского, тогда «рассказ вышел бы гораздо правдивее, но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицею стороныю жизни, как мы это делаем везде и во всем»¹.

Серьезные исследователи приходят к убеждению, что никакого преступления в бане Достоевский не совершил. Гроссман полагает, что если такой рассказ кто-либо и слышал от Достоевского, то это был его эпилептический бред. С Висковатовым Достоевский почти не был знаком и, встретив его за границею, писал о его уме и характере крайне пренебрежительно. Преступление в бане, говорит Анна Григорьевна Достоевская, есть «истинное происшествие, о котором мужу кто-то

Письмо это от 26.XI.1883 перепечатано в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской (стр. 285), которая показывает, как много в нем неправды.

рассказывал»; один из вариантов растления девочки Ставрогиным состоял из описания этого случая; он был написан Достоевским и прочитан друзьям².

Черты характера, сообщенные Страховым в письме к Толстому, в значительной степени были присущи Достоевскому, однако в большинстве случаев они выражались лишь в мимолетных движениях его души или в настроениях, в фантастических образах и может быть, иногда в словах, но не доходили до совершения дурных поступков. Этого было достаточно, чтобы человек, столь чуткий к злу и столь добрый, как Достоевский, приходил в отчаяние от «подполья», найденного им в своей душе и в душе других людей. Мало того, во сне, в сновидениях, он, по-видимому, погружался иногда в царство подлинно сатанинского зла.

«В характере моего мужа,— рассказывает Достоевская,— была странная черта: вставая утром, он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров, которые его иногда мучили, был до крайности молчалив и очень не любил, когда с ним в это время заговаривали» (178). Сонный, он «зверь сущий»,— писала Достоевская в своем «Дневнике» через три месяца после свадьбы².

Тайна личности Достоевского заключается именно в наличии у него двух ярко выраженных крайних полюсов опыта: перед приступами эпилепсии он вступал в царство райской гармонии, в ночных кошмарах он переживал сатанинское зло. В душе его было нарушено земное равновесие; приобщаясь к двум «иным мирам», Царству Божию и царству сатаны, Достоевский и в повседневной жизни, в особенности благодаря творческой силе фантазии, уединившей содержание всякого найденного им в себе и других переживания, постоянно колебался между титаническими страстями, раздирающими душу, и просветлениями души, восходящими до порога святости.

Для окончательной оценки личности Достоевского нужно иметь в виду высокие проявления его, выразившиеся в законченных действиях, составляющих главное содержание его жизни; таковы — возвышенный характер его художественного творчества, выработанное им христианско-мировоззрение, сущность которого будет предметом изложения всей книги, и множество добрых дел деятельной любви, совершенных им в жизни. Если же кто хотел бы очернить Достоевского, ссылаясь на темные стороны его характера, тому следует напомнить пословицу: случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться.

В заключение укажу, что приступы мрачного настроения, угрюмости, неразговорчивости Достоевского часто были связаны с приступами разнообразных мучительных болезней его. Почти в течение всей жизни ему случалось испытывать приливы крови к голове и сердцебиения. Весною часто у него было обострение геморроя, столь болезненное, что

¹ «Воспоминания», 290.

² Стр. 46. О тяжелом характере Достоевского, но также и о величии его см. «Год работы с знаменитым писателем» В. В. Тимофеевой (О. Починковской), «Истор. Вестн.», 1904, II; см. также Е. А. Штакеншнейдер. «Дневник и записки», 1934.

он иногда не мог «ни стоять, ни сидеть» (письмо № 241). После приступов эпилепсии у него бывало по несколько дней мрачное настроение, безотчетное чувство вины, «мистический ужас» и ослабление памяти до такой степени, что он не узнавал знакомых, от чего возникали обиды¹.

В течение последних восьми лет Достоевский страдал от эмфиземы легких, которая и свела его в могилу. Поднимаясь на лестницу, или в гости, Достоевский задыхался.

«Наше восхождение в третий, четвертый этаж,— пишет Достоевская,— длилось минут 20—25, и все-таки Федор Михайлович приходил ослабевший, измученный, почти задохнувшийся. Нас часто обгоняли знакомые и извещали хозяев, что Федор Михайлович сейчас будет их гостем. А приходил Федор Михайлович иногда только через полчаса, отсиживаясь на ступенях лестницы. «Ну как же не «олимпиец», когда так долго заставляет ждать своего появления?» — думали и говорили неприязненно настроенные против него лица. Извещенные хозяева, а иногда и поклонники Федора Михайловича выходили навстречу ему в переднюю, забрасывали его приветствиями, помогали ему снять шубу, шапку, кашне (а большому грудью так трудно проделывать лишние и ускоренные движения), и Федор Михайлович входил в гостиную окончательно обессилевший и не могущий произнести ни одного слова, а только старающийся хоть немного отдышаться и прийти в себя. Вот истинная причина его мрачной внешности в тех случаях, когда ему приходилось бывать в обществе. Большинство знавших его лиц до самого рокового конца не придавало значения его грудной болезни, а потому, по свойственной людям слабости, способно было объяснять его мрачность и неразговорчивость качествами, совсем не свойственными благородному, возвышенному характеру моего мужа».

На следующий день после кончины Достоевского художник Крамской устроил подмостки и с высоты их написал посмертный портрет Достоевского. Просветленное лицо Достоевского на этом портрете производит глубокое впечатление. Портрет этот есть свидетельство того, что смерть Достоевского была моментом окончательного преодоления зла в его душе.

Стремясь к Богу как абсолютному добрю и желая осуществить в своей жизни совершенную праведность, человек с тревогою задумывается над вопросом, осуществим ли идеал добра на земле. Величие и своеобразие христианства заключается в том, что оно дает положительный ответ на этот вопрос в самой убедительной форме: в самом деле. Церковь не только выработала отвлеченный догмат о Богочеловечестве Иисуса Христа, но еще и позаботилась о том, чтобы конкретное содержание жизни Иисуса Христа как совершенного добра, осуществленного в человеческой природе, стало близким каждому верующему; весь кульп она пронизала образом Христа, который есть для нас «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

«Христос и приходил за тем,— пишет Достоевский в заметках к «Бесам»,— чтобы человечество узнало, что природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске в самом деле и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале. Последователи Христа, обоготовившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого образа и веровать в него во плоти»¹.

Набрасывая, вероятно, ответ на открытое письмо Кавелина о Пушкинской речи, напечатанное в «Вестнике Европы» (1880, ноябрь), Достоевский записал в своих тетрадях следующие мысли о прочном основании нравственности, защищенном от всяких искажений:

«Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. На той почве, на которой вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи есть (от чувства, от Христа), доказать же, что они нравственны, нельзя (соприкасание миром иным). Убеждение же человечества в соприкасании миром иным, упорное и постоянное, тоже ведь весьма значительно»². Эти же мысли выражены и старцем Зосимою:

«На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему я говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой,

¹ «Записные тетради» Достоевского, 1935, стр. 155.

² Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского, 1883, стр. 374 с.

и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее» (VI, 3).

Необходимую связь совершенной нравственности с верою во Христа понимают лишь те люди, которые до конца осознали абсолютный идеал личности, именно обожение лиц, достойных стать членами Царства Божия. Предчувствие этого Царства есть «касание мирам иным». Все великие Отцы Церкви, особенно Восточной, согласно считают обожение конечною целью жизни. Но и дохристианская греческая мысль уже выработала эту идею. Согласно Платону, цель жизни есть «уподобление Богу по возможности» (Теэтет). Точно так же, согласно Аристотелю, Бог есть высшая цель, к которой стремится весь мир как к предмету своей любви. Особенно широко распространялось учение Платона об уподоблении Богу как цели жизни: стоит только вспомнить позднейших сторонников платонизма I и II вв. по Р. Хр. и в особенности основателя неоплатонизма Плотина с его многочисленными последователями.

Для осуществимости идеала обожения человека нужны многие условия — своеобразное строение мира и тесная связь Бога с миром. Важнейшее из этих условий есть боговоплощение, т. е. вступление в мировой процесс Самого Сына Божия, сотворившего идею абсолютно совершенной человечности и осуществляющего ее в своей жизни. Сын Божий, как от века существующий Небесный человек, снисшедший на землю в образе земного человека Иисуса Христа, служит миру примером осуществленного добра, более того, руководителем к добру и, еще важнее, благодатным содеятелем преображения природы падшего человека, свободно полюбившего Его и жаждущего возрождения.

Мысль об этом значении Христа особенно ярко обрисовалась в уме Достоевского в день смерти его первой жены 16 апреля 1864 г.

«Маша лежит на столе,— пишет Достоевский.— Увижу ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек.— Между тем после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно, как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтобы человек напел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может делать человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон я сливался с законом гуманизма, и в слитии оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтожаясь друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо.

Это-то и есть рай Христов. Вся история как человечества, так от части и каждого отдельно есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели.

Но если эта цель окончательная человечества (достигнув которой ему не надо будет развиваться, т. е. достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему,— стало быть, не надо будет жить) — то, следовательно, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное.

Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, т. е. если не будет жизни у человека и по достижении цели.

Следовательно, есть будущая, райская жизнь.

Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, т. е. в лоне всеобщего синтеза, т. е. Бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, который вряд ли будет и называться человеком (следовательно, и понятия мы не имеем, какими будем мы существовать). Эта черта предсказана и предуказана Христом — великим и конечным идеалом развития всего человечества, представшим нам по закону нашей истории во плоти; эта черта:

«Не женятся и (не) посягают, а живут как ангелы Божий» *

черта глубоко знаменательная.

1) Не женятся и не посягают, ибо не для чего; развиваться, достигать цели посредством смены поколений уже не надо и

2) женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее отталкивание от гуманизма, совершенное обособление пары от всех. (Мало остается для всех.) Семейство, т. е. закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это высочайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развитием (т. е. сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен беспрерывно отрицать его (Двойственность).

Антихристи ошибаются, опровергая христианство, следующим основным пунктом опровержения: «Отчего же христианство не царит на земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом друг другу?»

Да очень понятно почему: потому что это идеал будущей окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. Это будет, но будет после достижения цели, когда человек переродится по законам природы окончательно в другую натуру, которая не женится и не посягает.

И 3) Сам Христос проповедовал свое учение как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивается, а там — бытие полное синтетически, наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени не будет».

Это слитие полного я, т. е. знания и синтеза, со всем. «Возлюби все, как себя». Это на земле невозможно, ибо противоречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон не идеальный, как говорят антихристи, а нашего идеала.

Итак, все зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, т. е. от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовек.

Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает *весь*. Мы уже потому знаем, что не весь, что как физически рождающий сына передает ему часть своей личности, так и нравственно оставляет память свою людям (*Поминание вечной памяти* на панихидах знаменательно), т. е. входит частию своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развития) и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей. Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в **Я** Христа как в свой идеал.

Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой цели, вошли в состав его окончательной натуры, т. е. Христа. (Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле.) Как воскресает тогда каждое я — в общем *синтезе*, — трудно представить.

Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в окончательном идеале — должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую, бесконечную. Мы будем лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах (в дому Отца моего обители мнози суть *).

Всё себя тогда почувствует и, познает. Навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе — человеку трудно и представить себе окончательно.

И так человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, т. е. не приносил *любовью* в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и называл это состояние грехом. И так человек беспрерывно должен чувствовать *страдание*, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, т. е. жертвой. Тутто и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна (а?).

Учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит, смерть.

Учение истинной философии — уничтожение косности, т. е. центр и синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, т. е. Бог, т. е. жизнь бесконечная¹.

Эти мысли Достоевский записал в то время, когда закончил первую часть «Записок из подполья» и готовился писать вторую часть их. Именно в эту пору Достоевскому открылась, как показано в главе о его религиозной жизни, такая всепроникающая бездна зла в человеке, что он понял необходимость полного и чудесного преображения души и тела для преодоления зла и для осуществления совершенного добра. Изменение должно быть столь глубоким, что лицо, достигшее райского совер-

¹ Найдено Б. Выпеславцевым в записной книжке Достоевского, см. его статью «Достоевский о любви и бессмертии», «Совр. Зап.», № 50, стр. 293—297.

шества, «вряд ли будет и называться человеком»¹, но каждое из них при этом не утратит своеобразия, а, наоборот, разовьет свою индивидуальность вполне, как нечто ценное для всех.

Перерождение человека для преодоления зла в себе требует интимной онтологической (*бытийственной*) связи человечества с Иисусом Христом как воплощенным Логосом. В самом деле, зло эгоистического себялюбия так проникает всю природу падшего человека, что для избавления от него недостаточно иметь перед собою *пример* жизни Иисуса Христа; нужна еще такая тесная связь природы Христа и мира, чтобы благодатная сила Христа сочеталась с силою человека, свободно и любовно стремящегося к добру, и совместно с ним осуществляла преобразование человека. Такая тесная связь двух существ есть частичное *единосущие* их. Но единосущие человека и Бога невозможны²; поэтому Второе Лицо св. Троицы, Логос, для благодатного сотрудничества с миром воплотился, усвоив Себе человеческую природу: как Богочеловек, Он своею божественною природою единосущен Богу-Отцу и Духу Святому, а своею человеческою природою единосущен человечеству; Он служит посредником между Богом и миром.

Единосущие каждого человека с Богочеловеком есть вместе с тем и единосущие всех людей друг с другом. Человечество есть единый организм, во главе «которого стоит Богочеловек Иисус Христос. Церковь, к которой видимо или невидимо принадлежат все существа, свободно и искренно стремящиеся к добру, есть Тело Христово, согласно христианскому учению, особенно подчеркнутому в русской литературе Хомяковым.

Достоевский хорошо понимал истину учения об онтологическом единстве всего человечества.

«Вся ошибка «женского вопроса», — пишет Достоевский в 1880 г., — в том, что делят неделимое, берут мужчину и женщину раздельно, тогда как это единый целокупный организм. *«Мужа и жену создал их»**. Да и с детьми, и с потомками, и с предками, и со всем человечеством человек единый целокупный организм. А законы пишут, всё разделяя и деля на составные элементы. Церковь не делит»³.

Христианские учения о Боге, о личном индивидуальном бессмертии, о Царстве Божием и органическом единстве человечества содержат в себе необходимые условия для признания абсолютной ценности каждой личности и обязательности движения в направлении к абсолютному доброму, осуществимому лишь на основе любви ко всем существам. Утрата христианского миропонимания с неумолимою логикою последовательностью приводит рано или поздно к отрицанию возможности абсолютного совершенства, к принижению идеала, к все более унизительным учениям о личности и к отрицанию абсолютных прав ее. Позитивизм, «научная философия», материализм, отрицая идею трансцендентного Царства Божия, неизбежно ведут по пути все возрастающего снижения идеала. Некоторые зачинатели этого движения

¹ См. об этом мою статью «Воскресение во плоти», «Путь».

² Об онтологической пропасти, отделяющей природу тварного мира от Творца, см. мою статью «О творении мира Богом», «Путь», № 54, 1937.

³ Биография, письма... стр. 355.

были людьми высокоблагородными; отбросив христианскую метафизику, они непоследовательно сохраняли в своем уме и совести нравственные выводы из нее и руководились ими в жизни; они не предвидели того, что преемники их вместе с основами христианства откинут также следствия их и придут к убеждению, что «все позволено» для достижения излюбленных ими целей. Удивительно, как ясно предвидел этот процесс Достоевский. Он говорит, что русские юноши сделали крайние выводы из учений «всех этих Миллей, Дарвинов и Штраусов».

«Мне скажут, пожалуй,— продолжает Достоевский,— что эти господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание Христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом, и учение его возвыщено и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли — человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново,— то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома»¹.

Отрицатели трансцендентного Царства Божия ненавидят религию, как «опиум для народа», опаивающий ум пустыми мечтами и отвлекающий от реального дела устроения земного благополучия. Старец Зосима отвечает им:

«Если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то, напротив, и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлечший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого».

Наше время есть начало исполнения этого пророчества. Люди, обоготовившие государство, нацию, расу, коммунистический коллектив, захватывают власть и считают, что им «все позволено» для достижения их целей. Спасение от окончательной катастрофы может быть найдено только в возврате к христианскому идеалу абсолютного добра в Царстве Божием: только на его основе человек неуклонно воспитывается в уважении и любви ко всякой личности, освобождается от фанатической одержимости односторонними учениями и от торопливых попыток облагодетельствовать народы против их воли путем despoticских революций.

¹ «Дневник Писателя», 1873.

онных насилий. Поняв эту истину, Достоевский начал в своих романах обличать насильников и стал задаваться целью изобразить «положительно-прекрасного человека», руководящегося в своей деятельности образом Христа.